



...таким образом, оставив далеко и глубоко внизу февральскую вьюгу, которая лепила в переднее стекло автомобиля, где с трудом двигались туда и сюда стрелки стеклоочистителя, сгребая мокрый снег, а встречные и попутные машины скользили юзом по окружному шоссе, мы снова отправились в погоню за вечной весной...

В конце концов, зачем мне эта вечная весна? И существует ли она вообще?

Думаю, что мне внушил идею вечной весны (и вечной славы!) один сумасшедший скульптор, с которым я некогда познакомился в закоулках Монпарнаса, куда меня на несколько недель занесла судьба из советской Москвы.

Он был знаменитостью сезона. В Париже всегда осенний сезон ознаменован появлением какого-нибудь гения, о котором все кричат, а потом забывают.

Я сделался свидетелем недолгой славы Брунсвика. Кажется, его звали именно так, хотя не ручаюсь. Память мне изменяет, и я уже начинаю забывать и путать имена.

Его студия, вернее довольно запущенный сарай в глубине небольшого садика, усеянного разбитыми или недоконченными скульптурами, всегда была переполнена посетителями, главным образом приезжими англичанами, голландцами, американцами, падкими на знакомства с парижскими знаменитостями. Они были самыми лучшими покупателями модной живописи и скульптуры. У Брунсвика (или как его там?) не было отбоя от покупателей и заказчиков. Он сразу же разбогател и стал капризничать: отказываться от заказов, разбивать свои творения.

У него в студии всегда топилась чугунная печурка с коленчатой трубой. На круглой конфорке кипел чайник. Он угощал своих посетителей скупо заваренным чаем и солеными английскими бисквитами. При этом он сварливым голосом произносил отрывистые, малопонятные афоризмы об искусстве ваяния. Он поносил Родена и Бурделя, объяснял упадок современной скульптуры тем, что нет достойных сюжетов, а главное, что нет достойного материала. Его не устраивали ни медь, ни бронза, ни чугун, ни тем более банальный мрамор, ни гранит, ни бетон, ни дерево, ни стекло. Может быть, легированная сталь? — да и то вряд ли. Он всегда был недоволен своими шедеврами и разбивал их на куски молотком или распиливал пилой. Обломки их валялись под ногами среди соломенных деревенских стульев. Это еще более возвышало его в глазах ценителей. «Фигаро» отвела ему две страницы. На него взирали с обожанием, как на пророка.

Я был свидетелем, как он разбил на куски мраморную стилизованную чайку, косо положенную на кусок зеленого стекла, изображающего средиземноморскую волну, специально для него отлитую на стекольном заводе.

Словом, он бушевал.

Он был полиглотом и умел говорить, кажется, на всех языках мира, в том числе на русском и польском, — и на всех ужасно плохо, еле понятно. Но мы с ним понимали друг друга. Он почему-то обратил на меня внимание — может быть, потому, что я был выходцем из загадочного для него мира советской Москвы, — и относился ко мне весьма внимательно и даже дружелюбно. Он уже и тогда казался мне стариком. Вечным стариком-гением. Я рассказывал ему о советской России, о нашем искусстве и о своих друзьях — словом, обо всем том, о чем вы прочтете в моем сочинении, которое я в данный момент начал переписывать набело.

Брунsvик был в восхищении от моих рассказов и однажды воскликнул:

— Я вас вполне понял. Вы, ребята, молодцы. Я больше не хочу делать памятники королям, богачам, героям, вождям и великим гениям. Я хочу валять малых сих. Вы все — моя тема. Я нашел свою тему! Я предам всех вас вечности. Клянусь, я это сделаю. Мне только надо найти подходящий материал. Если я его найду... О, если я его только найду... тогда вы увидите, что такое настоящая скульптура. Поверьте, что в один из дней вечной весны в парке

Монсо среди розовых и белых цветущих каштанов, среди тюльпанов и роз вы наконец увидите свои изваяния, созданные из неслыханного материала... если я его, конечно, найду...

Он похлопал меня по спине своей могучей старческой рукой, и мы оба рассмеялись...

...образ Брунсвика (или как его там) пропал в провалах моей памяти.

И вот теперь, лет через пятьдесят, мы с женой полулежали в креслах с откинутыми спинками, в коридоре между двух рядов двойных, герметически закупоренных иллюминаторов, напоминавших прописное О, которое можно было истолковать как угодно, но мною они читались как заглавные буквы некоторых имен и фамилий.

Пожалуй, один из иллюминаторов я мог бы прочесть даже как прописное Ю. Ключик. Но мешало отсутствие впереди палочки, без которой Ю уже не Ю, — не ключик, а всего лишь ноль, зеро, знак пустоты, или в данном случае начало бесконечной колодезной пропасти, в глубине которой ничего невозможно было разглядеть, кроме мутного воздуха, туманно обещавшего вечную весну, где монотонно двигалась темная полоска — тень нашего длинного самолета.

Мы незаметно передвигались в среде, которая еще не могла считаться небом, но уже и не земля, а нечто среднее, легкое, почти отвлеченное, где незаметно возникают изображения самого отдаленного про-



шлого, например футбольная площадка, лишенная травяного покрова, где в клубах пыли центрфорвард подал мяч на край, умело подхваченный крайним левым.

Крайний левый перекинул мяч с одной ноги на другую и ринулся вперед — маленький, коренастый, в серой форменной куртке Ришельевской гимназии, без пояса, нос башмаком, волосы, упавшие на лоб, брюки по колено в пыли, потный, вдохновенный, ко-со летящий, как яхта на крутом повороте.

С поворота он бьет старым, плохо зашнурованным ботинком. Мяч влетает мимо падающего голкипера в ворота. Ворота — два столба с верхней перекладиной, без сетки.

Продолжая по инерции мчаться вперед, маленький ришельевец победоносно смотрит на зрителей и кричит на всю площадку, хлопая в ладоши самому себе:

— Браво, я!

(Вроде Пушкина, закончившего «Бориса Годунова». Ай да Пушкин, ай да сукин сын!)

Как сказали бы теперь, «был забит завершающий победный гол» этого рядового гимназического матча, об окончании которого возвестил рефери сигналом принятого в то время трехзвучного судейского свистка.

Впрочем, нельзя сказать, что это был ничем не замечательный матч: в нем принимал участие тощий, золотушного вида ришельевец в пенсне на маленьком носике, будущая мировая знаменитость,

центрфорвард сборной команды России, как сказали бы теперь — «нападающий века», «суперстар» мирового футбола, Богемский. Но тогда он был лишь старшекласником и, надо сказать, прескверным учеником с порочной улыбочкой на малокровном лице.

Его имя до сих пор легенда футбола.

В ту пору я тоже был гимназистом, посещал спортивную площадку и, подобно множеству моих сверстников, сочинял стишки и даже печатал их в местных газетах, разумеется бесплатно.

— Кто забил гол? — спросил я.

И тогда второй раз в жизни услышал имя и фамилию ключика. В первый раз я его, впрочем, не услышал, а увидел под стихами, присланными по почте для альманаха в пользу раненых, который я составлял по поручению редакции одной из газет. Можете себе представить, какую кучу стихотворного хлама обрушили на меня все городские графоманы: до сих пор помню одно стихотворение на военно-патриотическую тему, выведенное писарским почерком с нажимами и росчерками; в нем содержалось следующее бессмертное двустишие:

«Уланский конь скакает в поле по окровавленным телам».

Альманах не вышел ввиду затруднений военного времени, которые уже начали ощущаться.

Стихи же, привлёкшие мое внимание, были написаны на канцелярской бумаге, уже вполне усто-

явшимся почерком: круглые крупные буквы с отчетливыми связками. Они были подписаны полным именем и фамилией, уже и тогда ничем не отличаясь от тех факсимиле, которые мы привыкли теперь видеть под портретом на его посмертных книгах.

Тогда я никак не мог предположить, что маленький серый ришельевец, забивший левой ногой такой прекрасный гол, и автор понравившихся мне стихов — одно и то же лицо.

Мы учились в разных гимназиях. Все гимназисты нашего города за исключением ришельевцев носили форму черного цвета; ришельевцы — серого. Среди нас они слыли аристократами. Хотя их гимназия формально ничем не отличалась от других казенных гимназий и называлась Одесская первая гимназия, все же она была некогда Ришельевским лицеем и славилась тем, что в ее стенах побывали как почетные гости Пушкин, а потом и Гоголь.

Я был в черной куртке, он — в серой.

Я подошел к нему, подбрасывая на тамбурине маленький мячик. По моим вискам струился пот. Я еще не остыл после проигранной партии.

Я назвал себя. Он назвал себя. Так состоялось наше формальное знакомство. Мы оба были приятно удивлены. Мне было семнадцать, ему пятнадцать. Мне нравились его стихи, хотя они были написаны по моде того времени немножко под Северянина. Теперь одному из нас восемьдесят, а другого вообще уже нет на свете. Он превратился в легенду. Но часть его души навсегда соединилась с моей: нам было суждено стать самыми близкими друзьями —



ближе, чем братья, — и долго прожить рядом, развиваясь и мужая в магнитном поле революции, приближение которой тогда еще даже не предчувствовали, хотя она уже стояла у наших дверей.

Только что я прочел в черновых записях Достоевского: «Что такое время? Время не существует, время есть цифры, время есть отношения бытия к небытию»...

Я знал это уже до того, как прочел у Достоевского. Но каково? Более чем за сто лет до моей догадки о несуществовании времени! Может быть, отсюда моя литературная «раскованность», позволяющая так свободно обращаться с пространством.

Теперь плечом к плечу со своей женой я стоял среди старинного протестантского кладбища, где на небольших аккуратных могильных плитах были изваяны мраморные раскрытые книги — символы не дочитанной до конца книги человеческой жизни, — а вокруг живописно простирались вечнозеленые луга и пригорки чужой, но милой страны, и хотя весна еще не явилась, но ее вечное присутствие в мире было несомненно: всюду из-под земли вылезали новорожденные крокусы и мальчики бегали по откосам, запуская в пустынное, почти уже весеннее небо разноцветные — не совсем такие, как у нас в России, — бумажные змеи с двумя хвостами.

Я знал, что этот европейский ландшафт уже был когда-то создан в воображении маленького ришельевца.

Прижав к себе локоть жены, я наяву наблюдал этот ландшафт глазами, мокрыми от слез.

...Что-то я на склоне лет стал сентиментален...

Время не имеет надо мной власти хотя бы потому, что его не существует, как утверждал «архискверный» Достоевский. Что же касается ассоциативного метода построения моих сочинений, получившего у критиков определение «раскованности», то это лично мое. Впрочем, как знать? Может быть, ассоциативный метод давным-давно уже открыт кем-нибудь из великих и я не более чем «изобретатель велосипеда».

Глядя на бумажные змеи и на зеленые холмы, я подумал, что ту книгу, которая впоследствии получила название «Ни дня без строчки», ключик однажды в разговоре со мной хотел назвать гораздо лучше и без претензий на затрепанное латинское *nulla dies sine linea*, использованное древними, а вслед за ними и Золя; он хотел назвать ее «Прощание с жизнью», но не назвал, потому что просто не успел.

Я же, вероятно, назову свою книгу, которую сейчас переписываю набело, «Вечная весна», а вернее всего «Алмазный мой венец», из той сцены «Бориса Годунова», которую Пушкин вычеркнул, и, по моему, напрасно.

Прелестная сцена: готовясь к решительному свиданию с самозванцем, Марина советуется со своей горничной Рузей, какие надеть драгоценности.

«Ну что ж? Готово ли? Нельзя ли поспешить?» — «Позвольте, наперед решите выбор трудный: что вы наденете, жемчужную ли нить иль полумесяц изумрудный?» — «Алмазный мой венец». — «Прекрасно!

Помните? Его вы надевали, когда изволили вы ездить во дворец. На бале, говорят, как солнце вы блистали. Мужчины ахали, красавицы шептали... В то время, кажется, вас видел в первый раз Хоткевич молодой, что после застрелился. А точно, говорят: на вас кто ни взглянул, тут и влюбился». — «Нельзя ли поскорей»...

Нет, Марине не до воспоминаний, она торопится. Отвергнута жемчужная нить, отвергнут изумрудный полумесяц. Всего не наденешь. Гений должен уметь ограничивать себя, а главное, уметь выбирать. Выбор — это душа поэзии.

Марина уже сделала свой выбор. Я тоже: все лишнее отвергнуто. Оставлен «Алмазный мой венец». Торопясь к фонтану, я его готов надеть на свою плешивую голову.

Марина — это моя душа перед решительным свиданием. Но где этот фонтан? Не в парке же Монсо, куда меня некогда звал сумасшедший скульптор?

Я ошибся, думая, что на острове, омываемом теплым течением Гольфстрим — или, как его называли в старых гимназических учебниках, Гольфштрем, что мне нравится гораздо больше, — весна обычно является на глаза в феврале. Но был год дракона, в мире происходили ужасные события: войны, наводнения, землетрясения, извержения вулканов, авиационные катастрофы, эпидемии гонконгского гриппа, внезапные смерти...

Меня преследовали неудачи.

Баба-яга в докторском халате, сидевшая за письменным столом с тремя телефонами и аппаратом для измерения кровяного давления, даже не потрудилась меня исследовать. Она лишь слегка повернула узкое лицо к моей жене, окинула ее недобрым взглядом и категорически отказалась выдать справку о здоровье, а затем повернулась всем своим костлявым телом, пробормотав сквозь вставные зубы:

— Это не ему, а вам хочется попутешествовать. Лично я не рекомендую.

С этими словами она показала свою тощую спину, села верхом на веник и улетела в окно.

Я был настолько уверен в отличном состоянии своего здоровья, что, услышав роковой приговор врача, запрещающий нам лететь в страну вечной весны, сначала не поверил ушам, а потом едва не потерял сознание: все вокруг меня сделалось как при наступлении полного солнечного затмения. Если бы не клочок ваты, смоченный нашатырным спиртом, поднесенный к моим ноздрям чьей-то милосердной рукой, то я бы, чего доброго, хлопнулся в обморок.

К счастью, затмение постепенно заканчивалось, и в прояснившейся комнате явилась добрая фея, положила меня на клеенчатую лежанку, велела спустить штаны и как можно крепче поджать колени под живот. Фея была тоже в медицинском халате, но профессорском, более высокого ранга — белоснежно накрахмаленном, из-под которого виднелись оборочки нарядного платья и стройные, элегантно обутые



ноги, — чуть было не написал «ножки», что было бы весьма бестактно по отношению к профессору.

Ее лицо было строго-доброжелательно, хотя и вполне беспристрастно. Не оборачиваясь, она повелительным жестом королевы протянула назад руку, в которой вдруг как бы сам собой очутился стерильный пакет с парой полупрозрачных хирургических перчаток. Она вынула одну из них и натянула на правую руку. Продолжая процедуру исследования, она осталась вполне довольной, по-королевски скупно улыбнулась, после чего уже ничто не могло помешать нам лететь...

Деревья мало знакомых мне пород, хотя среди них попадались пирамидальные тополя, как в Полтаве, стояли голые, по-зимнему черные. Судя по крокусам, весна уже была где-то совсем близко, рядом, на подходе. Это несомненно. Но что-то тормозило ее приближение, не давало ей наступить. О, проклятый год дракона! Все вокруг еще дышало мучительно медленно умирающей зимой.

В моем представлении Англия была страной мягкой зимы и ранней, очень-очень ранней, нежной весны. Вероятно, это всего лишь игра воображения.

Но неужели воображение не сильнее метеорологии?

Поэзия — дочь воображения. А может быть, наоборот: воображение — дочь поэзии. Для меня, хотя и не признанного, но все же поэта, поэзией



прежде всего было ее словесное выражение, то есть стихи.

О, как много чужих стихов накопилось в моей памяти за всю мою долгую жизнь! Как я их любил! Это было похоже на то, что, как бы не имея собственных детей, я лелеял чужих. Чужие стихи во множестве откладывались в моем мозгу, в том его еще мало исследованном отделе, который называется механизмом запоминания, сохраняющим их навсегда наряду с впечатлениями некогда виденных картин, слышанной музыки, касаний, поцелуев, пейзажей, пробежавших за вагонным окном, различных элементов морского прибоя — его цвета, шума, подводного движения массы ракушек и камешков, многообразия его форм и цветов, его хрупкого шлейфа, временами закрывающего мокро-лиловый песок мировых пляжей Средиземного и Черного морей, Тихого и Атлантического океанов, Балтики, Ла-Манша, Лонг-Айленда...

Англия помещалась где-то среди слоев этих накоплений памяти и была порождением воображения некоего поэта, которого я буду называть с маленькой буквы эскесс, написавшего:

«Воздух ясен, и деревья голы. Хрупкий снег, как голубой фаянс. По дорогам Англии веселой вновь трубят старинный дилижанс. Догорая над высокой крышей, гаснет в небе золотая гарь. Старый гномик над оконной нишей вновь зажжет решетчатый фонарь».

Конечно, в этих строчках, как у нас принято было говорить, «переночевал Диккенс», поразивший однажды воображение автора, а потом через его

стихи поразил воображение многих других, в том числе и мое.

Не было вокруг ни хрупкого снега, похожего на голубой фаянс, ни старинного дилижанса, трубящего на дорогах Англии, совсем не показавшейся мне веселой, не было и гнома, зажегшего решетчатый фонарь. Но все эти элементы были мутно нарисованы синькой на веджвудском фаянсе во время нашего брекфеста в маленькой лондонской гостинице недалеко от Гайд-парка.

Мы видели очень быстрое движение автомобилей на хорошо накатанном бетонном шоссе с белыми полосами, которые через ровные промежутки вдруг резко обрубались, с тем чтобы через миг возникнуть снова и снова обрубиться. Мы видели по сторонам коттеджики, одинаковые, как близнецы, но в то же время имеющие каждый какие-то неповторимые особенности своих деталей, как и те английские семейства, которые в них обитали.

В одном из промелькнувших домиков действительно над оконной нишей гном держал решетчатый фонарь.

Над высокой крышей другого могла гаснуть в небе золотая гарь, и на ее фоне чернели рога араукарии.

Черные, как бы обугленные, деревья настолько мертвые, что, казалось, дальше так продолжаться не может и они должны или перестать существовать, или наконец воскреснуть: хоть немножко зазеленеть.

А между тем во многих крошечных палисадниках мимо нас проносились кусты, сплошь осыпанные желтыми цветами, но без малейшей примеси зелени. Никаких листьев, только цветы; уже явно не зимние, но еще далеко и не весенние, а какие-то странные, преждевременные выходцы из таинственной области вечной весны.

Нас сопровождал длинный индустриальный пейзаж высокоразвитой страны: трубы заводов, пробежавшие мимо поодиночке, попарно, по три, по четыре, по шесть вместе, целыми семьями; силуэты крекингов, запутанные рисунки газопроводов, ультрасовременные фигуры емкостей различного назначения, иногда посеребрённых... Однако в темных, закопченных маленьких кирпичиках иных фабричных корпусов наглядно выступала старомодность девятнадцатого века викторианской Англии, Великобритании, повелительницы полумира, владычицы морей и океанов, именно такая, какую ее видел Карл Маркс.

Движущиеся мимо прозрачно-сумрачные картины не затрагивали воображения, занятого воссозданием стихов все того же эссеиста:

«Вы плачете, Агнесса, вы поете, и ваше сердце бьется, как и встарь. Над старой книгой в темном переплете весна качает голубой фонарь»...

Весна уже начинала качать голубой фонарь, и мне не было никакого дела до Бирмингема, мимо которого мы проезжали со скоростью шестидесяти миль в час.

Ах, этот голубой фонарь вечной весны, выдуманный эскиссом в пору моей юности.

Он был, эскисс, студентом, евреем, скрывавшим свою бедность. Он жил в большом доме, в нижней части Дерибасовской улицы, в «дорогом районе», но во втором дворе, в полуподвале, рядом с дворницкой и каморкой, где хранились иллюминационные фонарики и национальные бело-сине-красные флаги, которые вывешивались в царские дни. Он жил вдвоем со своей мамой, вдовой. Никто из нас никогда не был у него в квартире и не видел его матери. Он появлялся среди нас в опрятной, выглаженной и вычищенной студенческой тужурке, в студенческих диагональных брюках, в фуражке со слегка вылинявшим голубым околышем. У него было как бы смазанное жиром лунообразное лицо со скептической еврейской улыбкой. Он был горд, ироничен, иногда высокомерен и всегда беспощаден в оценках, когда дело касалось стихов. Он был замечательный пародист, и я до сих пор помню его пародию на входившего тогда в моду Игоря Северянина:

«Кто говорит, что у меня есть муж, по кафедре истории прозектор. Его давно не замечаю уж. Не на него направлен мой прожектор. Сейчас ко мне придет один эксцесс, так я зову соседа с ближней дачи, мы совершим с ним сладостный процесс сначала так, а после по-собачьи»...

Свою пародию эскисс пел на мотив Игоря Северянина, растягивая гласные и в наиболее рискованных местах сладострастно жмурясь, а при по-



стыдных словах «сладостный процесс» его глаза делались иронично-маслеными, как греческие маслины.

Он был поэт старшего поколения, и мы, молодые, познакомились с ним в тот жаркий летний день в полутемном зале литературного клуба, в просторечии «литературки», куда Петр Пильский, известный критик, пригласил через газету всех начинающих поэтов, с тем чтобы, выбрав из них лучших, потом возить их напоказ по местным лиманам и фонтанам, где они должны были читать свои стихи в летних театрах.

Эскесс уже тогда был признанным поэтом и, сидя на эстраде рядом с полупьяным Пильским, выслушивал наши стихи и выбирал достойных.

На этом отборочном собрании, кстати говоря, я и познакомился с птицеловом и подружился с ним на всю жизнь.

Петр Пильский, конечно, ничего нам не платил, но сам весьма недурно зарабатывал на так называемых вечерах молодых поэтов, на которых председательствовал и произносил вступительное слово, безбожно перевирая наши фамилии и названия наших стихотворений. Перед ним на столике всегда стояла бутылка красного бессарабского вина, и на его несколько лошадином лице с циническими глазами криво сидело пенсне со шнурком и треснувшим стеклом.

Рядом с ним всегда сидел ироничный эскесс.

Я думаю, он считал себя гениальным и носил в бумажнике письмо от самого Александра Блока, однажды похвалившего его стихи.



Несмотря на его вечную иронию, даже цинизм, у него иногда делалось такое пророческое выражение лица, что мне становилось страшно за его судьбу.

Его мама боготворила его. Он ее страстно любил и боялся. Птицелов написал на него следующую эпиграмму:

«Мне мама не дает ни водки, ни вина. Она твердит: вино бросает в жар любовный; мой Сема должен быть как камень хладнокровный, мамашу слушаться и не кричать со сна».

Он действительно не пил вина, и у него не было явных любовных связей, хотя он был значительно старше всех нас, еще гимназистов.

Одно из его немногочисленных стихотворений (кажется, то, которое понравилось Блоку) считалось у нас шедевром. Он сам читал его с благоговением, как молитву:

«Прибой утих. Молите бога, чтоб был обилен ваш улов. Трудна и пениста дорога по мутной зелени валов. Все холодней, все позже зори. Плывет сентябрь по облакам. Какие сны в открытом море приснятся бедным рыбакам? Опасны пропасти морские. Но знает кормчий ваш седой, что ходят по морю святые и носят звезды над водой»...

У меня уже начала разрушаться память, и некоторые волшебные строчки выпали из полузабытых стихов, как кирпичи из старинных замков эпохи Возрождения, так что пришлось их заменить дру-

гими, собственного изготовления. Но, к счастью, лучшие строчки сохранились.

...еще там упоминался святой Николай с темным ликом и белой бородой, покровитель моряков и рыбаков...

Почему нас так волновали эти стихи? Может быть, мы и были этими самыми бедными ланжероновскими рыбаками, и сентябрь ярусами плыл по низким облакам, и нам снились несказанные блоковские сны, и по морю, где-то далеко за Дофиновкой, ходили святые и над водой носили звезды: Юпитер, Вегу, Сириус, Венеру, Полярную звезду...

Настало время, и мы все один за другим покинули родной город в поисках славы. Один лишь эскесс не захотел бросить свой полуподвал, свою стареющую маму, которая привыкла, астматически дыша, тащиться с корзинкой на Привоз за скумбрией и за синенькими, свой город, уже опаленный огнем революции, и навсегда остался в нем, поступил на работу в какое-то скромное советское учреждение, кажется даже в губернский транспортный отдел, называвшийся сокращенно юмористическим словом «Губтрамот», бросил писать стихи и впоследствии, во время Великой Отечественной войны и немецкой оккупации, вместе со своей больной мамой погиб в фашистском концлагере в раскаленной печи с высокой трубой, откуда день и ночь валил жирный черный дым... Впрочем, это не подтвердилось. Он умер собственной смертью перед самой войной.